

женщина, торгующая книгами, привычно разворачивает над обложками газетный лист.

Первые прохожие уже спешат по улице кто вверх, кто вниз, их глаза озабочены и равнодушны. Этот ранний люд разложенным по ступенькам товаром не интересуется — кому, спрашивается, нужны с утра книжка или цветочный горшок? Покупатели обычно появляются ближе к девяти — молодые мамы, выводящие детей на обязательную прогулку; парочки пенсионеров-неразлучников; одинокие старики с лицами суровыми и справедливыми; прогуливающие первые уроки школьники; приезжие, узнаваемые по неуверенной походке и немного идиотической, счастливой улыбке.

* * *

Верочка Николаевна очень любила герань. Когда-то давно на семейных праздниках родственники её всегда смеялись, мол, Верочка любит своих зелёных питомцев куда больше, чем родню. Верочка тоже смеялась, но не очень возражала. От тех домашних посиделок с непрерывной скатертью, колбасно-сырными верерами, двумя горячими блюдами и множеством хитросоставных салатов у Верочки осталось только ласкательное девичье окончание имени, отчего-то следовавшее за ней всю жизнь, не потерявшееся даже с прибавлением отчества, и сейчас, много лет спустя, так неподходящее её грузному телу и сердитым глазам.

Никто не знал, что герань, стоящая сейчас на Кудрявого и заполонившая все подоконники и балконы Вервиной квартиры, была та самая — то ли внучка, то ли правнучка цветка, посаженного когда-то на даче Верочкиной мамой. Дачу Верочка помнила до последней дощечки — этот дом, одноэтажный, но основательный, настоящий, был построен её отцом по соседству с модными тогда замысловатыми, обитыми с ног до головы мелкой вагонкой коттеджами. Верин отец по-мелкому не работал — усмехаясь в усы, он возводил своё из толстых, смуглых брёвен, а внутри дома сложил печь, белёную и пышущую теплом. И Веру, маленькой дурочке, когда-то даже было

стыдно того, что все вокруг в светлых теремах, а она, как чернавка, в избе какой-то.

Теперь уж это никому не интересно, и никто не помнит — как сушились у печки насквозь промокшие после гулянья рукавицы; как проваливалась Вера в сугробы с головой (а внутри, в снегу, светло: голубым таким чудным светом); как пугалась она — не деревенская — понурой, печальной коровы, гуляющей за крепко справленным отцом забором. Нет этого ничего, только герань и осталась. Мама с отцом по глупости, по гордости разругались на старости лет и, на диво всем, развелись глубокими пенсионерами, да так некрасиво, с дележом и криком. Продали и дачу. Вера, занятая тогда собственной сложной личной жизнью, ничегошеньки не успела забрать — ни рубашек бабушкиных нежного ситца, ни шляпок-панам, видевших когда-то солнце Крыма и сосланных за город ещё пятьдесят лет назад в наказание за выцветание и потерю формы; ни склянок-пузырьков — матового стекла, эмалевых, медных; ни страдающего проказой зеркала; ни витого, изящно сработанного венского стула, неизвестно каким ветром занесённого в их далёкую от утонченности семью. Спохватившись, уже после продажи Вера приехала на дачу, но её новые владельцы и за калитку не пустили — увидела только, что деревянный настил заменили россыпью мелких камушков, а густейшую полосу смородинных кустов выдерали к чертям собачьим. Ругаться Вера не стала — чего уже теперь ругаться, но, держа в кармане фигу и пожелав новым хозяевам доброго урожая, выпросила кусток герани, росший возле кирпичной дорожки. Новая хозяйка протянула вырванный без жалости кусток прямо через забор, осыпав Верину пальто чёрной, тяжёлой, мамиными и отцовскими пальцами ошупанной землёй.

С этой геранью Вера уже не расставалась. Усаживала в горшки, стригла, размножала — а попутно хоронила мужа, женила на себе нового, рожала дочку, а потом сына. Девочка вышла непутёвая, всё рвалась куда-то — то на север, то за границу, так и уехала — то ли в Хорватию, то ли в Сербию, Вера всё путала страны и злилась, потому что никак не могла запомнить их имён. А вот сын получился хороший,

сначала сам был при матери, а потом мать держал при себе. В поисках сыновнего карьерного пути им тоже, правда, пришлось уехать — так далеко от той самой дачи и выхоженных десятилетиями улиц, что страшно делалось. Всё оставили, даже родные могилы побросали, но вот герань Верочка с собой прихватила.

На новом месте климат благоприятствовал — теплота, влажность, свежесть. Буйно и лохмато курчавилась гераниевая зелень в длинных пластиковых горшках, и Вера, не в силах остановить это нахальное цветение, ни на секунду не прерывающийся наглый рост, взялась своей любимицей торговать.

Ей приятно было думать, что далёкий от здешних мест цветок, начавший свой путь с выдеранного призаборного кустка, зазеленеет теперь на незнакомых подоконниках и будет жить не кончаясь; может быть, и Верочка тогда не кончится никогда.

Герани покупали охотно. Но денег Вере не нужно было — сын работал хорошо, удачно и матери ни в чём не отказывал, хоть и умолял с этим цветочным позорищем завязать, и всё вырученное от торговли она складывала на счёт, не тратила — берегла.

Возраст её перевалил за шестьдесят, и сделалась она придирчивой, сварливой — со смаком, удовольствием ругала всё вокруг: и умершего сразу после переезда второго мужа, и правительство, и богачей, и плодящуюся, по её выражению, нищету, и невежливов чужих детей, и мерзкую молодёжь, и магазинные товары, и даже уличных кошек, глядящих на неё со спокойствием храмовых статуэток. А самые нежные, самые лёгкие, самые мягкие слова шептала она лишь своим любимицам, дрожащим резными листками на утреннем прохладном ветру.

* * *

Глядите-ка, на этой обложке какая картинка — девушку обнимает мужчина, и так обнимает, что сразу видно, о чём книга. Заслоняет её собою от тучи на небе и от злодея с тонкими усами — вот мерзкий тип, всё хотел испортить, да не вышло. А она, девушка-то, неп-

ременно блондинка, тонкая вся — такую как разок обнимешь, так всю жизнь на шее и потащишь. Ну и на таких находятся любители, чего уж. Нравится, может, ему так, когда защищаешь всё время, объясняешь. Она, небось, и поварёшку в руках не держала, всё только норовила от злодея убежать да плакать, волосами этими белёсыми обвесится и ноет. Знаем таких, в двадцать пятом доме здесь, на Кудрявого, как раз такая жила бабёнка, Филимонова была её фамилия. Замуж вышла за армяна, так он плакал на свадьбе, говорили. От счастья, что можно теперь её спрятать и защищать целыми днями. Уехали потом, что с ними делалось, никто не знает.

А вот эта, что вы в руки взяли, поинтересней будет книжечка. Видите, тут женщина рыжая? Я вам подсказу, как хорошую книгу выбрать — если рыжая на обложке, так не ошибётесь. Они с норовом, рыжие-то, и не ноют, и сами по себе обычно похитрее, и чем-нибудь диковинным заняты — то коней объезжают, то собак разводят. На этом весь сюжет и построен — вон, рядом с ней мужчина: смотрите какой, нос горбом. Ему надо, чтоб без нытья, чтоб характер был твёрдый и чтоб посмеяться можно было. Я вам сюжет-то не буду рассказывать, но я так хохотала, когда они оба в лужу шлёпнулись, с коней свалились, значит, и прямиком в грязь! А потом она ему от ворот поворот дала, потому что думала, что он папашку её подставил и до смерти довёл. А сама страдала, но не ныла, а злилась. Поживее книжка, говорю ж. С рыжими всегда так — не соскучишься. Мужиков только рыжих не люблю, уж простите-извините, но аж подташнивает. Это у меня потому, что одноклассник был рыжий, всё в носу копал у доски — задумается и ну копать, как вспомню, так воротит. На всю жизнь такое в душе осталось омерзение. Ну, про такое в хороших книжках не пишут, правильно вы говорите... Это я о своём. Берите, берите про рыжую. Не хотите? А вот ещё брюнетка есть, глядите, на корабле плывёт! Брюнетки — те вообще роковые красавицы! Женщина! Ну куда вы? Ещё много у меня всякого! Ну вот, облапала только обложки и смылась... Тьфу, а ещё виду приличного! Лишь бы дождя не было... Дождь нам никак не нужен... Мало этой дуры со сво-

ей брызгалкой, глаз да глаз нужен, чтоб не залила мне книжки, так ещё облака вон ходят кругами, ходят. Затылок ломит. Давление...

А вообще, женщине без любви никуда. Не жилец, если нет у неё любви. Трудно, правда, у нас с этим делом, мрачно. И некогда задуматься, отчего так. Всё круговерть какая-то, то учишься, то женишься, то рожашь. А любовь внутри всё копится, копится, ждёт своего часа. Вы что ни говорите, а я так думаю, у нас здесь не может быть такого, как в книжках. Ну, какая это любовь, когда в шесть утра встала, на голове кочка, глаза опухли, а впереди день такой долгий, что и представить нельзя. До вечера доберёшься, ушатаясь, уляжешься, а тут муж. Вроде вот и люби его, а куда там. Сто лет на одну рожу смотришь, всякого его увидишь, и забудешь уж, отчего именно за него вышла и даже удивляешься, как это можно было так лопухнуться. А любовь, она другая должна быть. Мечтой должна быть. О ней можно кино посмотреть, книжку о ней можно прочитать, но как её к себе приложить — вот к такой, какая в зеркале отражается? Плечи вниз, руки плетью, зад как тумба, а хуже всего глаза — ни цвета, ни огонька в них нету. Я поэтому и говорю, что книжки мои — для каждой бабы спасенье. В них как в воду прыгнешь и плывёшь, плывёшь, словно как водолаз в ластах. А как вынырнешь, так и спать пора, а в голове не мужнина рожа и не завтрашние заботы, а счастье, сплошное счастье! Ведь если сочиняют писатели так, может быть, и вправду где-то от нас подальше, не на Кудрявого, конечно, и вообще не в нашем краю, а где-нибудь у моря или в садах волшебных, или в городах с огнями-небоскрёбами — вот там люди любят! И красиво так друг друга обнимают, бережно, и никому в голову не придёт улечься спать в рваных носках.

Я о своих покупателях забочусь. Всегда самые интересные книжки беру в оптовке. По обложкам выбираю — и ни разу не ошиблась, все за душу берут, до слёз доводят, а заканчиваются непременно свадьбой. И я же вижу, кто ко мне подходит. Всё у них на лицах написано. Несчастные они, а я им вроде доктора. Нет, других книжек я не держу. Пришла, помню, как-то сюда одна алкашка, попросилась рядом свои книжки попродавать — от мамки, гово-

рит, остались, место занимают. Ну я, добрая душа, пустила — глянула только на её книжонки, да и пустила. Обложки серые, тканевые, одинаковые, тускленько что-то выведено — собрание сочинений, что ли. Ну, фамилию и название не разобрать... Так ведь и пострадала я от своей доброты! Мимо пигалица какая-то стриженная бежала — со спины совсем девчонка, а по лицу видать, пожила уже. Так она это самое собрание алкашкино увидела, аж затряслась, сколько стоит, спрашивает. А алкашка ей — тыщу! Ну, видит, что не в себе мелкая эта, так и заломила цену. Я ей говорю, уймись, дамочка, зачем вам эта серость, вон у меня гляньте-ка, какие обложки яркие, и всё про любовь, и каждая всего по пийсят рублей! А мелкая от меня только отмахнулась, мол, такое не читаю, ухватила это алкашкино добро и тыщу ей отвалила. Как унесла только, удивляюсь, больше неё сумка была, волоком, небось, тащила. Алкашку я прогнала, конечно, чтоб духу больше её здесь не было! Нечего здесь мне...

* * *

Торгующей книгами Людмиле скучно. Всё её кипучее существо требует действий — и если с ними туго, она с удовольствием принимается делиться с окружающими жизненными историями и наблюдениями. На всё у Людмилы есть твёрдое мнение, для каждого готов совет. Ещё год назад всё это словесное богатство доставалось соседке по крыльцу: и пересказы телепередач, и подробности фильмов, и содержание книг. После ссоры с Верой Людмила со скуки стала звонить подруге, вот и теперь, прижав телефон к уху, она заводит долгий рассказ о своей тётушке, маринующей грибки особым способом — да так, что как начнёшь есть, так не остановишься; подробно перечисляет всё, что входит в маринад, попутно описывая тёткины замужества и разводы. Верочка Николаевна ни словечка из рецепта не упускает и очень сердится от того, что никак не может перебить Людмилу и раз и навсегда объяснить ей, как нужно правильно обращаться с грибами.

Ближе к обеду торговки достают термосы и

согреваются чаем, кляня про себя ветер и с обидой поглядывая в ледяное, ослепительно-синее небо с редкими облаками, смахивающими на белые скомканные салфетки.

— О, Ванюшка на проверку тащится, — сквозь полупрожёванный бутерброд бухтит себе под нос Людмила и смотрит влево: там, в начале улицы, мелькает круглая полицейская фуражка. Владелец её — участковый, пухленький парнишка с очень серьёзным, но чрезвычайно веснушчатым лицом, шагает важно, поглядывая по сторонам и стараясь иметь хозяйский рачительный вид, никак не вяжущийся ни с веснушками его, ни с юными пугливыми глазами, ни с подпирающими фуражку нежно-розовыми ракушками ушей.

Парнишка проходит мимо оставленных рабочими песочных везувиев, стопок старой плитки и досок, прижимающих к земле ровные крылья полиэтилена. Минует ларёк мясника, кондитерскую лавку и останавливается возле приютивших двух торговых ступенек. Разговаривает он тоже серьёзно, как большой.

— Добрый день, гражданки женщины, — здоровается он. — Как торгуется?

— Здра-а-встуйте, Иван Владимирович, — дружно поют ему в ответ, — справляемся потихоньку.

Оглянувшись, участковый достаёт из-под форменной куртки ярко-синюю книжку — на её обложке изображена глазастая красавица, тянущая руки к мрачному брюнету с пышной копной кудрей.

— Людмила, благодарю, супруге очень понравилось. Захватывающее, сказала, произведение, особенно где ограбили их и чуть со скалы не сбросили.

Торговка книгами смеётся и кивает:

— Ой, там наверчено, у-ух! Вы ещё берите, у меня новых вон сколько! — говорит Людмила и снова смеётся. — Может, и сами ознакомьтесь.

Иван Владимирович крутит головой, краснеет и поправляет фуражку.

— Я к вам, гражданки женщины, с новостями. Значит, после обеда, где-то в четыре, рабочие сюда вернутся. Плитку будут менять. И крыльцо вот это будут ремонтировать. Отменяется торговля.

— Ну, это ничего, Иван Владимирович, мы

подождём, — отвечает Людмила. — А когда вернуться можно будет?

Уши участкового из красных становятся тёмно-фиолетовыми, и всё его лицо выражает настолько сильное смущение, что смотреть на него почти невыносимо.

— Никогда! — отрезает он. — Запретили тут любую уличную торговлю. И ларьки снесут. Будет супермаркет. Кустики кругом посадят. И тополя спилят. Мне поручено очистить улицу от несанкционированных элементов.

— Кустики? — не выдерживает Верочка Николаевна. — Ополоумели вы, что ли? Нам-то куда податься? Какие кустики? — зычный её голос несется по Кудрявого, заставляя редких прохожих обернуться в изумлении.

— Сирени кустики! — кричит в ответ участковый. — Всё, я сказал! Можете быть свободны, чтоб не видел вас тут больше! Спасибо за внимание!

Он снова оглядывается, вдруг замирает, хватаясь за фуражку, бормочет: «Ах ты, чёрт, и тут нашёл...» — и кидается под неверное прикрытие крохотной будочки обувщика, а после, пригнувшись, двумя длинными прыжками пересекает газон, перебегает дорогу и скрывается в узком проходе между магазином одежды и парикмахерской.

Торговки переглядываются в недоумении, и Верочка Николаевна, нарушив введённый ссорой обет молчания, бормочет:

— Ишь, как заяц поскакал. Чего это он? Ну Ванюшка, ну даёт... А это вон тот мелкий мужчинка его напугал. Вон идёт с папочкой.

Человек, идущий под приговорёнными к скорой гибели, но упрямо набирающими весеннюю силу тополями, и вправду соответствует меткому выражению Верочки Николаевны — отличают его и невеликий рост, и узкие плечи, и слишком легкомысленный для холодного дня то ли плащик, то ли пиджак. Человек мёрзнет — нос у него красный, а пальцы, сжимающие папку, белые, но, по-видимому, этого и не замечает.

Поравнявшись с двумя торговками, мужчина останавливается и смотрит на них строго и вопросительно.

— Участковый тут не пробежал? — спрашивает он и вдруг улыбается по-мальчишески озорно и широко.

— Пробегал, пробегал, а как же, — мстительно отвечает Людмила, до сих пор не пришедшая в себя от неприятной новости — ну как же, книжками прикармливала Ваньку этого, терпела выпачканные чем-то жирным обложки и даже сигаретный пепел между страницами, а он вдруг погнал её в шею, — вон туда помчал зараза.

— Опять ушёл, — вздыхает мужчина. — Никак его не поймаю. Кое-как один только раз на рабочем месте застал, а теперь всё убегает от меня. Хитрый, знает, где спрятаться, а я неповоротливый, пока соображу.

Он снова вздыхает и усаживается прямо на ступеньки:

— Хорошо тут у вас, уютно. Вы уже в курсе? Улочка-то наша пропала начисто. Всё пропало.

* * *

Лёгким дымком, тонкими водными струйками, запахами, звуками проникает в жизнь новое. Не скрыться от него, даже если ослепнуть и оглохнуть. И ведь только привыкнешь к одному порядку, приходится перестраивать себя — всё в себе — и плясать под чью-то свежую пронзительную дудку. Кому-то в радость, а вот Алексею — в муку. Не поспевал он жить в общем стройном ритме, и только собирался посидеть в тишине, обдумать хорошенько настоящее, как ему уже — хоп! — и будущее под нос.

А меж тем желал для себя Алексей участи особой, непростой. На жизнь незаметную и бессмысленную никак не хотел он соглашаться и просил от судьбы всего лишь побольше времени и тишины, чтобы всё успевать и не запыхаться. С тоскою думал он о веках прошедших, когда скользили по бумаге неторопливые перья, лениво махал крылом почтовый голубь и мягко, приглушённо ступали по земле тяжёлые лошадиные копыта. Нынешнее же время, втискивающее в одно мгновение целый ворох слов, картинок и действий, Алексея оскорбляло полной своей обнажённостью, невозможностью уединения, совершенной беззастенчивостью в раскрытии не только тайных уголков тела, но и — что куда откровеннее! — тайных уголков души.

Такая медлительность и основательность в мыслях позволяли Алексею уйти лишь в одну единственно возможную профессию — историка, документального исследователя, имеющего полное право останавливать мир, превращать давно минувшие секунды в часы и бродить внутри застывшего прошлого, разворачивающегося в холодных залах архивного хранилища.

Из-за боязни конкуренции (она ему представлялась скопищем мускулистых людей, пихающих друг друга локтями) Алексей изучал факты, никого другого не увлекавшие. Интересовали его те, кто появлялся в жизни значимых с точки зрения истории персон, а после пропадал, как и не было. И это полное исчезновение поражало Алексея своей неотменимостью: как же так, неужели судьбою иных является мгновенная вспышка отражённым, чужим светом, а потом уход в бесконечную темноту забвения и смерти?

Под прицел неспешных Алексеевых исследований попадали школьные приятели, первые учителя или тренеры, дальние родственники, врачи или мимолётные любви — кто угодно, но непременно заставивший некоего героя выйти на ту самую дорогу, что ведёт к славе и успеху. Робко строил Алексей планы написания книги с названием игривым, но многозначным: что-нибудь вроде «Тысяча безвестных в жизнях известных» или «Кто на деле делает историю?». Но все его замыслы вскоре были отложены, и сосредоточился он на одном.

Началось всё событием банальным, хоть и, безусловно, печальным — смертью Алексеевой бабушки. Старушка покинула мир в девяностолетнем почтенном возрасте, квартиру, как и положено, отписала наиболее нуждающейся в квадратных метрах родне, поэтому скорби, а уж тем более отчаяния никто в семье не испытал. Аккуратная её смерть — дозвонилась до соседки и даже дверь изнутри успела открыть перед сердечным приступом — не доставила никому особенных неудобств: почти всё ею было предусмотрено и оплачено заранее. Квартиру выставили на продажу, вещи переглядели и выбросили, оставив лишь небольшую стеклянную баночку с никому не нужными золотыми побрякушками, собираемыми почившей в течение всей жизни, и пачку писем, упрятанных

в полиэтиленовый пакет. Золотишко постановили сдать в ювелирный утиль, а письма, по виду ветхие и много раз читанные, отдали Алексею, любителю, по выражению его отца, «трясти древними бумажонками».

Так и оказалась в его руках переписка матери умершей бабушки, стало быть, приходившейся Алексею прабабушкой, с Александром Яковлевичем Кудрявым — актёром, блистающим на театральных подмостках столицы почти сто лет назад.

Прабабку Алексей не застал, родившись спустя несколько месяцев после её смерти. В семье о ней почти не говорили, то ли стеснясь, то ли боясь ворошить былое, надёжно прикрытое не только прошедшими десятилетиями, но даже и новым веком. Мало разговоров вёл Алексей и с бабушкой — сначала мал был, а потом занят то учёбой, то сидением в архивах. Ах, как же теперь жалел он, что не расспросил хорошенько старуху и не узнал, когда её мать познакомилась с Кудрявым, что составило их роман, чем он начался и чем завершился и при каких обстоятельствах она сбежала из столицы в ничем не примечательный городишко в самой середине России...

Замуж прабабка более не выходила, вскоре после переезда родила дочь — будущую бабушку Алексея, появившуюся на свет в тысяча девятьсот двадцатом. Больше никаких примечательных фактов в её биографии не обнаружилось, кроме разве что одного — где-то в начале пятидесятых так и не покинувшая город своей добровольной ссылки прабабушка переехала из общежития на окраине в двухкомнатную квартиру, расположенную на улице Кудрявого. Было ли это совпадением, случилось ли стараниями бывшей возлюбленной актёра, никто не знал. Алексею нравилось думать так: прабабушка романтических чувств не потеряла и с особым трепетом обрела новый адрес, хотя бы таким штампом в паспорте приблизившись к потерянному навсегда любимому.

Думая о времени любви прабабки и Кудрявого, пришедшейся, судя по всему, на тысяча девятьсот девятнадцатый, Алексей погружался в какую-то бесцветную дымку, смутную и холодную (так причудливо связывались в его сознании ушедшая реальность и оставшиеся от неё чёрно-белые кадры хроник). Но дымка эта

была живою — двигались внутри неё фигуры, звучала музыка и вот, даже романы крутились. Обжигала Алексея надеждой вероятность собственного родства с Кудрявым — ну могла же, в конце концов, прабабка забеременеть от актёра ещё в Москве, перед самым отъездом в безвестность и бессмысленность провинции.

Сравнивая себя с возможным прадедом и разглядывая сохранившиеся фотографии Кудрявого, Алексей видел лицо благородное — тонкое, но мужественное, выражающее готовность справиться с любыми печалью без потери достоинства и артистизма. В лице же Алексея, к его досаде, ни благородства, ни мужества не наблюдалось — самая обыкновенная себе физиономия: нос уточкой, подбородок слабый и брови несолидные, чуть видны.

Но как же мучила мысль о вполне возможной иной жизни, потерявшейся где-то во времени и пространстве, не случившейся... Отчего же злая история не пожелала сделать прабабку Кудрявому женой и стёрла ни в чём не повинную глуповатую (так считал правнук) девицу со всех своих скрижалей? Чуть больше милосердия от госпожи Клио — и не пришлось бы Алексею скучать над безвестными сопровождающими чых-то великих жизней, и с полным правом мог бы он исследовать роли, судьбу, любви и трагическую кончину своего знаменитого прадеда.

Подумывал Алексей отправиться в Москву, разыскать оставшихся в живых родственников Кудрявого и выяснить-таки, имеет ли его медленно текущая пугливая кровь какое-либо отношение к страстно бурлящим генам актёра. Но что-то унижительное, нечистоплотное мерещилось ему в таком поступке, и более всего не хотелось осуждения и враждебности. А ну как подумают, что привлекает его всего лишь наследство? Пугал и сам путь в столицу — поездом ли, самолётом? А если ограбят или крушение какое произойдёт?

Повздыхав и потосковав, Алексей решил включить прабабку в число героев будущей книги и тоску по несбывшемуся в себе почти унял. Но успокоиться не получилось, и вот холодным весенним днём он уселся на треснувшие ступеньки магазинного крыльца рядом с книгами и буйной гераниевой зеленью.

* * *

Ангел мой, Надюша!

Благодарю вас за письмо, я так рад был получить его и, признаюсь вам, даже хотел всплакнуть от восторга. Думал целовать конверт, поскольку показалось мне, что он несёт на себе ваш слабый аромат — мёда и тёплого молока, но соображения гигиенические меня остановили: письмо чудом добралось до меня через тысячи вёрст, а кругом мор и нищета, всегда бывшая для меня чем-то вроде дурной болезни.

Очень мне, Наденька, тяжело сейчас. И силы мои кончаются. Подумываю уехать из столицы, поскольку играть в такой обстановке не имею ни желаний, ни возможностей. Вообразите, только представьте: мне почти нечего есть! Никогда не думал, что такое прозаическое, низменное отвлечёт меня от театра, но я не могу не вспоминать свою жизнь всего лишь пятилетней давности, когда у меня никогда не мёрзли ноги и я мог напиться чаю вдоволь. Да что там чай! Вспомните наши ужины, завтраки, обеды! Надя, я страдаю и измучен нехваткой самого необходимого, и только вам лишь могу признаться в этом, но, впрочем, попрошу вас немедленно уничтожить это письмо после прочтения. Мне не хотелось бы сохранять письменное свидетельство моей слабости — я даже лучшим друзьям объясняю своё дурное настроение любовными неудачами.

Уверен, вы разрешите мне быть откровенным: и любовные неудачи у меня сейчас имеются. Но греет мне душу мечта: вот сяду я в поезд (хотя, говорят, они страшны и грязны нынче) и уеду к вам, на север. И вы меня согреете и накормите, и будете любить, правда? Говорят, на севере не так голодно, а я так устал быть несчастным и мёрзнуть, Надя!

Но не буду утомлять вас своими слезами, хотя, поверьте, последние несколько недель мне ничего не хочется — только биться от отчаяния, право, как в самой трагической роли.

Будьте готовы, Надя, к моему появлению. Я уже забываю о славе и мечтаю лишь о вас.

*Остаюсь всегда преданным Вам,
Ваш Александр Кудрявый*

Алексей читал с выражением, возвышая голос и взмахивая левой рукой в местах особенно патетических. Раскрытая папка лежала у него на коленях, и чуть ослабевший после утренней гонки ветер шевелил листки пожелтевшей от времени бумаги.

— В октябре девятнадцатого года писано, — пояснил он пригорюнившимся на своих раскладных стульчиках торговкам. — А вот что она ему ответила.

Сашенька, здравствуйте, родной!

Простите мне мою фамильярность, но я как прочитала ваше письмо, так до сих пор летаю! Вот не поверите, не хожу, как все, по дороге, а лечу над нею! И мне больше не хочется вас называть Александром Яковлевичем, зачем так долго-долго выговаривать, когда сердце моё поёт и сама я лечу — Сашенька, Сашенька!

Вчера перемыла полы, книги перетёрла, всё-всё в комнате вытрясла и проветрила, и каждая вещичка меня радовала, потому как я представляла, что вы скоро на неё взглянете, к ней прикоснётесь!

Я всё очень славно придумала. Вы, главное, приезжайте, а здесь мы устроимся! У меня очень тёплая комната, не скажу, что просторная, но светлая, и окно большое, высокое! Я так чувствую, словно пропасть, что была между нами (помните, вы сами мне перечисляли — и возраст, и груз печалей, и разность взглядов), так вот эта пропасть словно исчезла, как и не было. И пусть на улице очень страшно сейчас, поздняя осень, и ещё снегом ничего не закрыто, и люди такие, боже мой, такие страшные. Отчего-то лица у них чёрные, и вся одежда словно из-под земли вынута! И ночью кричат за окном на разные голоса — то будто ребёнок, то будто старик.

Но вы не пугайтесь, замки у меня крепкие, да и ходить вам куда особенно не надо будет, я всё-всё уже решила! Мне много не нужно, а когда вы будете рядом, так вообще одного солнечного света хватит!

Одно печалит меня. Вы мне сами рассказывали, помните, как выражались? Что сцена для вас, как вода. Что вы плывёте на свободе, когда выходите к зрителю. Как же вы будете без

сцены? Но у нас, Сашенька, поговаривают, самодельный театр будут открывать! Можете, вам туда? Вот счастье-то, если вам захочется! Ведь вас же сразу примут! Вы гений, и никакая чернота, никакая грязная осень, никакая голод или холод этого не отменяют.

Сашенька... Мне очень тяжело и неловко это писать, но я должна сказать вам. Я не смогу вас просто так принять, вот так, как сейчас. Я знаю, я глупая и ничего не понимаю о свободе, но и вы меня поймите. Простите меня, я бы никогда не решилась сказать вам это в лицо, сорелась бы от стыда, а писать как-то легче. Я знаю, что вы не любите этой пошлости и мелко вам покажется то, что я думаю. Но после нашей единственной — помните? — единственно возможной встречи всё моё существование стало вами. Я стала вами. И быть с вами рядом, Сашенька, я смогу, только если вы будете весь — мной. Весь мой.

Я плачу сейчас. Не верю в такую судьбу, неужто Бог отвёл мне такую радость? Не верю, и никто не поверил бы, но мне и поделиться-то не с кем. А потом перечитываю ваше письмо, и такие слова вы мне пишете, вроде обыкновенные чернила на самой обычной бумаге, а столько радости, Сашенька, столько! Я смеюсь сейчас. Быть может, это моё письмо не застанет вас, быть может, вы уже спешите ко мне, и мне придётся стать храброй и самой всё-всё вам сказать, по-настоящему! И пусть! Я ничего не боюсь, и хоть знаю, что не успели бы вы так быстро добраться, но побегу сейчас на вокзал встречать вечерний поезд, и каждый день буду бегать, Господи, за что мне такое счастье, я ведь столько раз смогу представить, как вы спускаетесь ко мне из вагона!

*Жду всем сердцем, всюю душою,
Ваша Надя*

— Эта Надя — прабабка моя, — в голосе Алексея слышалась нескрываемая гордость. Смутьившись, он прибавил: — Я, быть может, правнуком Кудрявому прихожусь! Прабабушка из Москвы сюда приехала и тут уже мою бабушку родила.

— М-да-а... — неопределённо протянула Верочка Николаевна. — А я и не знала, что улица эта в честь актёра названа. Думала, как

обычно, военный какой или писатель. А почему ты говоришь, что пропала улица? Снесут тут всё, что ли?

Алексей оживился:

— Почему снесут, нет, всего лишь отремонтируют. Что само по себе и неплохо! Но ведь название улицы тоже решили сменить, представляете? Я, как вероятный потомок и историк, протестую! Это же гордость города, культурное его достоинство! А они космонавта какого-то хотят вместо актёра обозначить. Нет, космонавты тоже, конечно, люди полезные, но в чём Кудрявый-то провинился? И всем наплевать, что жила в городе любимая актёром женщина, пусть и недолго любимая, но жила же! Вот, глядите, — Алексей достал из папки резко отличающуюся от старых писем ослепительной белизной бумагу и замахал ею, словно трепещущим флажком, — решение городского совета, месяц назад они тайком всё провернули, а я только неделю как узнал! Сочли, что театральный деятель к нашему городу отношения не имеет. Ну как будто космонавтов у нас здесь завалились! К мэру меня не пустили, на звонки не отвечали, на письма тоже. Вечерами я бегал здесь, по улице, пробовал собрать подписи, потом заходил в дома, собирал народ, но равнодушные у нас люди нынче. Корней не знают, городом не интересуются. Даже побить грозили, подумайте-ка!

Торгующая любовными романами Людмила усмехнулась, представив, что бы она ответила подобному посетителю, потревожившему её вечерний покой.

— А Ванюшку чем так напугал? — спросила она.

— Ванюшку? А, участкового-то? — Алексей смущённо улыбнулся. — Да я думал, поможет... Правоохранительный орган как-никак. Но он от меня сбежал сразу, как я письма ему попытался почитать, и потом всё время прятался, ни разу не поговорили мы обстоятельно. Спасибо, хоть вы выслушали...

Верочка Николаевна хмыкнула.

— Знаешь, по мне — хоть актёр, хоть космонавт, честно тебе скажу. Космонавты, пожалуй, поприятнее будут, хотя бы не кривляются. А вот то, что прогоняют нас, это плохо. Пока место новое найдём, пока пристроимся. А там свои порядки, и неизвестно ещё, как при-

мут... Людк, давай вместе держаться, ладно? Я, если что, сына подключу.

Оставив обиду, плохие рецепты и атаки цветочного пульверизатора, торговки затарили наперебой, обсуждая рынки, уличные базарчики и городские закоулки, на которых можно будет попробовать обрести кусочек торгового счастья. Об Алексее позабыли. Он бережно вложил прочитанные письма в конверты и теперь поглаживал бумагу самыми кончиками пальцев, аккуратно, словно прикасаясь к бабочкиным крыльям. Потом закрыл папку, щёлкнув тугими резинками по её краям, и встал.

— Эй, ты куда, погоди! — встрепенулась Людмила, любившая книги только со счастливым концом. — А дальше-то что было? Приехал Кудрявый к твоей прабабке? Или она к нему?

— Нет, — ответил Алексей. — Никто ни к кому не приехал. Кудрявый женился на режиссерской дочке, стал хорошо питаться и больше Наде не писал. Играл всякое разное, и всегда удачно так, с блеском. На открытках его печатали, по всей стране они разлетались, он там то с усами, то в тюрбане со звездой — это лучшая его роль была — Красного мудреца, по мотивам восточных сказок спектакль поставили, но в революционной тематике. А потом над ним пошутили нехорошо, мол, арестовать его хотят. А он поверил и повесился. Народу, понятное дело, сказали, что заболел тяжело и не выздоровел. Тогда во многих городах улицы его именем назвали. А теперь вот и помнить не хотят.

Торговки молчали. Знать о чьей-то нелепой смерти, случившейся так давно, им не хотелось. Не трогала их и замена актёра на космонавта, ну помилуйте, какая нам разница, хоть как обзовите, только не трогайте, жить дайте спокойно, без сложностей. Мы люди маленькие, тихие, наш мир — крохотный мыльный пузырь, летящий невесть куда и невесть кем надутый. Продержаться чуток, не повредить глянцевою радужную кожу, целыми добраться до конца и там уж исчезнуть беззвучно и бесследно, лишь бы без страха, лишь бы без боли.

— Ну, ты иди себе. Иди, — сказала Верочка Николаевна и сделала Людмиле страшные глаза — чтоб не вздумала больше этого чудака о чём-то спрашивать.

— До свидания, — вежливо попрощался Алексей и спустился с крыльца. — Так если участковый будет проходить, вы уж передайте, что я его искал...

* * *

Алексей шёл по улице, поглядывая на потрёпанные адресные таблички — вскоре их заменят новыми, с выписанными по светлому металлу завитушками и короткой, звонкой фамилией, может быть, вполне хорошего, приличного человека, пусть и выходившего в открытый космос, но не любимого доверчивой девятнадцатилетней девчонкой с толстой светлой косой и нелепым бантом на макушке.

От ходьбы Алексей немного согрелся и шёл теперь бодрее, прислушиваясь к составленной ветром, людскими и автомобильными голосами музыке города. Вплетаясь в этот немолкающий хор без протеста и надрыва, ровно, уверенно и легко зазвучали в его голове вытверженные наизусть слова последнего письма, написанного прабабкой в глубокой старости и не отправленного по причине полного отсутствия адресата.

Милый мой Сашенька!

Простите, что не писала так долго. И не думайте, что была обижена. Совсем нет, но не писалось мне отчего-то. Но теперь, думаю, нам придётся скоро свидеться, и я, как тогда, помните, лучше напишу, чем скажу в глаза.

Саша, всю мою жизнь каждый мой день был наполнен надеждой. Она была моим именем и заменила мне все другие чувства. И она была прекрасна. То, что оборвалось между нами на взлёте, осталось у меня. Всё, целиком, как я и хотела. Спасибо вам, родной. До встречи,

Ваша Надя

В сотый раз перебрал в памяти слабые строчки, написанные уже не чернилами, а обыкновенной шариковой ручкой, Алексей стал думать о своём одиноком бунте, прикидывая, как бы ему выступить ловчее и полезнее. И по всему выходил ему один позор. Шли бы танки

или тяжёлая строительная техника, можно было бы выразительно встать у них на пути. А что ты поделаешь с укладчиками тротуарной плитки — кинешься под их резиновые молотки? И драматичным ли будет противостояние с рабочими, скручивающими старые таблички с панельного панциря пятиэтажек? Что там у них будет, отвёртки, дрели? А у Алексея ветхие бумажки и диплом историка-архивиста?

Выхода никакого не было, и выход был один — идти как идётся и любить как любит-ся, греясь той самой бессмысленной надеждой, что передаётся от уходящих остающимся и делает даже неотправленные письма полученными. Время, как сердце, ровно билось в Алексеевой папке, и город на секунду притих, запоминая его шаги.



— **А**ребёнка-то знаешь как зовут? Сядь, если стоишь. Мирон! Вот и я говорю, идиотизм какой-то. Так я не поленилась, поискала, что имечко это значит. Ну-ну... Да ты что... А она?

Неведомый собеседник перебивает Марью Ивановну своей историей — из трубки доносится поквакивание и дребезжание. А вдруг Марья Ивановна и вправду говорит с большой лягушкой? А ну как лягушка прискачет сюда? Усядется рядом с кроватью — сама холодная, как зелёный лёд, и вся блестит. Мироша терпеть не может лягушек и змей. Вот птицы — другое дело. Они в пушистых перьях и умеют летать, ловко подобрав остренькие лапки.

— Кошмар... Кошмар! — возмущается Марья Ивановна чему-то услышанному и гнёт своё. — Так я ж тебе говорю, я не поленилась и узнала, что этот самый Мирон означает. Ляг, если сидишь. Бла-го-у-хан-ный! Представляешь?! Ну-ну... А ты что?

Мироше не спится. День на дворе в самом разгаре, но ровно в три часа Марья Ивановна задёргивает плотные занавески и велит уснуть. Мироша знает, что ей просто очень хочется поговорить, а в её толстеньком кнопочном телефоне прячутся самые разные голоса. Кто квакает, кто присвистывает. Голоса всё знают про Мирошу: и про имя, и про маму, и про высокую температуру.

— Да какой там отец, я тебя умоляю, бросил её давно, — говорит Марья Ивановна в трубку. — Я соседка, вроде чужой человек, так и то чаще ребёнка вижу. Жалею мальчишку, просыпал, теперь дома сидит. А матери на работу надо, не дают ей больничный, уволить грозятся. Ну да, я тут не бесплатно, не бесплатно. Пенсии нынче сама знаешь какие.

Марья Ивановна принимается рассказывать, что видела сегодня в магазине, и куда ездила позавчера, и куда поедет завтра.

— Куры свежие, а вот сметану забывают! — твердит она квакающему голосу и слушает в ответ далёкие бульканья и переливы.

Мироше становится так скучно, что он и в самом деле засыпает — легко, на самой верхушке сна и, кажется, всего на несколько минут. А когда просыпается, занавески уже раздвинуты, окно из солнечного стало серым, и ни следа Марьи Ивановны в комнате не осталось.

Он отбрасывает душное одеяло — вот так тебе, ногами тебя в комок! — несётся по скользкому полу на кухню, втыкается лохматой головой прямо в мамин живот и хохочет — нет никаких лягушек, и скуки нет, потому что мама дома!

— Мирошкин, ну не плачь, — утешает его мама пол часа спустя. — Всего два дня осталось! Сегодня Марью Ивановну вытерпел? Вытерпел. Завтра тётя Марина придёт. А послезавтра... — мама подмигивает, — сюрприз будет! А потом выходные, и я буду дома, с тобой, никуда вообще не уйду ни на минутку! Ну, Мирошкин, ну два дня же! Потерпишь?

От мамы пахнет горьковатой прохладой — этот дождевой, свежий запах каким-то чудом втиснут в пузатый флакон, стоящий в коридоре у зеркала. Мироша думает, что, если станет совсем невмоготу, можно будет этот флакон понюхать. А тётя Марина куда лучше Марьи Ивановны. А потом вообще — сюрприз.

— Ладно, — говорит он, — я потерплю.

* * *

Тётя Марина хоть и хорошая, но играть совсем не умеет, и Мироше уже в третий раз приходится объяснять, почему никак нельзя, чтобы красную птицу поколотила синяя.

— Красная — самая сильная, понимаешь? А синяя слабенькая, она птенец ещё. И вообще, они дружат. У них домик вот здесь, под картонкой.

Тётя Марина берёт красную птицу и делает вид, будто та идёт по дивану, переваливаясь с лапы на лапу.

— Я самая сильная и красная! — сердито басыт она, и Мироша смеётся, потому что крас-

ная птица никогда не злится и уж тем более не ходит как пингвин.

— Не так! Дай покажу!

Он тянется за игрушкой, но тут у тёти Марины звонит телефон.

— Да! Алё! — кричит она, вскакивает, а потом опять садится. — Ты где?

Телефон у тёти Марины широкий и плоский, как тоненькая книжка. Лягушек, похоже, в нём не водится, а сидит кто-то суровый, не говорящий, а гудящий в тётю Мариного ухо. Мама говорила, что у тёти Марины есть муж и он странный. Наверное, это он и гудит на тётю Марину так, что даже Мироше не по себе.

Тётя Марина долго слушает, закрыв глаза и поджав губы, а потом начинает стрекотать быстро, как заводная машинка.

— Нельзя так, ты понимаешь, нельзя так со мной! Я ни в чём перед тобой не виновата, зачем ты меня мучаешь? Я звонила-звонила, а ты два дня недоступен, вдруг с тобой что-нибудь случилось? Я ведь спать не могла, волновалась! Да не слежу я за тобой, не слежу! Я же люблю тебя!

Голос гудит что-то в ответ — что-то обидное, потому что тётя Марина плачет. Мироша удивляется — как можно так плакать, когда глаза закрыты, а лицо совсем спокойное, будто она и не расстроилась. Если Мироша ревёт — то всем телом, и рот открывает пошире, ведь так же куда удобнее.

Тётя Марина снова вскакивает и убегает в соседнюю комнату, плечом прижимая телефон к щеке. Через стенку Мироша слышит, как она говорит, но не слышит что — и это похоже на жалобную песню без слов.

Красная птица лежит на диване, а синяя так и прячется под картонкой. Мироша вздыхает и принимается за дело один — птицам нужно слетать за добычей, пообедать, а после навести порядок в своём домике. К мамину возвращению нужно всё успеть. А завтра будет сюрприз.

* * *

— Так польнью и поливаешься? Зачем тебе эта горечь? Женщина должна пахнуть сладким, съедобным чем-нибудь, а не тоской зелёной.

Мама смотрела на говорившего недоверчиво и как-то обречённо, но тут возмутилась:

— Без тебя разберусь, понял?

— Тогда я пошёл? — улыбаясь, мужчина сделал шаг назад.

— Да стой. Хоть перед собственным сыном не придуривайся, ладно? Решил исправляться, так исправляйся. А я вообще опаздываю. Температура у него небольшая, но горло ещё побаливает. Лекарства на столе, если что, сразу звони.

Мужчина ничего не ответил, потому что увидел Мирошу — тот стоял в дверном проёме и смотрел на маму сонно и вопросительно.

— Мирошкин, доброе утро! — как-то слишком обрадовалась мама. — А вот и сюрприз! Папа твой приехал. Помнишь, я говорила тебе, что он отправился далеко-далеко в чужую страну, никто оттуда не может ни доплыть, ни долететь? А он смог — и доплыл, и долетел! И вам пора познакомиться и подружиться.

— Зда-аров, парень! — мужчина шагнул к Мироше, подхватил его под мышки и закружил так быстро, что всё перед глазами смешалось: и мама, и зеркало, и вешалка, и розовый утренний свет, падающий из открытой кухонной двери...

— Ну, брат, рассказывай! — Мама уже ушла, а папа уселся в кресло, вытянув ноги почти до середины комнаты. — Как живёшь? Чем занят?

Мироше очень хочется побежать вслед за мамой — может быть, она разрешит пойти с ней на работу? Или позвать Марию Ивановну. Или пусть плачущая тётя Марина придёт. Откуда он взялся — папа? И что, теперь прямо сразу его так можно называть? Мироша пробует произнести новое слово про себя — папы всегда были только у других, а чтобы вот так, собственный появился, это ещё привыкнуть надо... Но мужчина смотрит на него так весело и открыто — синими-пресиними глазами, что от этого взгляда и улыбки, и особенного, никогда не виданного Мирошей сочетания яркой, чёрной бороды и белого свитера внутри становится светло и счастливо, и хочется рассказать сразу всё: и про красную птицу, и про царапающие горло коготки простуды, и про кудрявую девочку Олю из старшей группы, и про то, что на самом деле пахнет от мамы замечательно — чистой холодной водой.

— Я... — начинает Мироша, но папа вдруг перестаёт улыбаться и хлопает себя по карману брюк.

— Чёрт, — сквозь зубы бормочет он, — телефон опять потерял. Чёрт! Так, парень, быстренько собирайся, смотаемся в одно место и вернёмся. Где там твоё одеяло, показывай.

Он очень торопится, и Мироша не успевает ничего объяснить — ни того, что куртку обычно не надевают на пижаму, ни того, что жёлтая шапка куда теплее синей, ни того, что перчатки прячутся в нижнем ящике комода под мохнатым маминым шарфом.

* * *

В просторном зале тихо, холодно и темно. Мягкие кресла поджали сиденья, словно боясь пустоты вокруг. Свет горит лишь на высокой сцене, а в самой её серединке прямо на досках сидит лысый старичок и крутит в руках длинные железные палки.

— Оп-па, — говорит он, увидев Мирошу, — и кто это у нас такой?

Папа легонько подталкивает Мирошу к ведущим наверх высоким ступенькам.

— А это у нас сын. Мирон называется.

— Ух ты! — удивляется старичок. — Ну, здравствуй-здравствуй. Слушай, а стойки-то менять придётся.

Папа пожимает плечами — наверное, ему всё равно, бродит по сцене туда-сюда и бормочет что-то ругательное, но не злое, а потом с ликованием хватается блестящий телефонный прямоугольник, валяющийся у складчатого занавеса.

— Нашёл! — кричит он. — Фу-уу-х... Вечно из кармана всё валится. Вот, брат, погляди, где у тебя родитель работает. Это тебе не просто так, а театр! — на этом слове папа поднимает вверх брови и указательный палец.

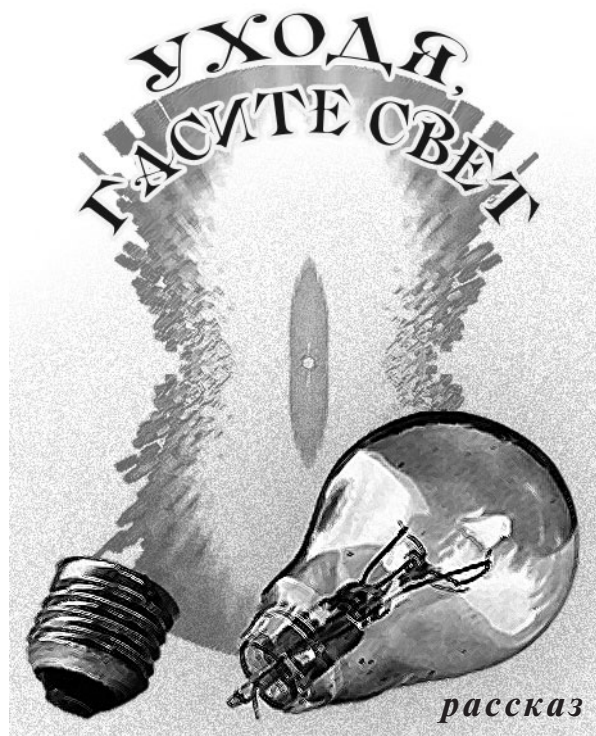
— Храм искусства, — серьёзно кивает старичок, — ты к Белову, кстати, зайди, он тебя ещё вчера искал.

Папа опять чертыхается, берёт Мирошу на руки, выбегает из полутьмы зала в узкий, ярко освещённый коридор — не прямой, как в детском саду или у мамы на работе, а похожий на лабиринт, ведущий то в стороны, то вниз.

Добравшись до центра лабиринта и толкнув толстую дверь, так и не выпустив Мирошу из рук, папа долго кричит усатому дядьке что-то непонятное, тот кричит на него в ответ, потом они хохочут и спешат в соседнюю комнату, где пахнет пылью, а в разноцветных ворохах ткани берутся три женщины с огромными ножницами. Мирошу усаживают в угол, на толстый рулон марли, суют печенье, шоколадку и сморщенное старое яблоко. Он грызёт угощение не глядя, — так много всего интересного кругом, только вот холодно очень. Высоко по стенам на длинных крюках развешаны чьи-то наряды: самые обыкновенные рубашки и пиджаки покачиваются рядом с бархатными плащами, стальными кольчугами, ковбойскими шляпами, звериными масками и пышно взбитыми, облачными платьями. В комнату заходят и заходят люди, и непонятно, как это они помещаются на крохотном, заставленном тряпичными колоннами пятачке. И каждый, кто заходит, видит Мирошу и спрашивает, кто это у нас такой, а после удивляется и здоровается. Потом включают музыку, и она то льётся, то прыгает между полом и потолком, не оставляя ни единого пустого местечка в этом чудном и так донельзя переполненном мирке. У Мироши кружится и немножко болит голова, но отвлекаться никак нельзя, нужно во все глаза смотреть, как папа смеётся, и слушать, как он говорит. Если бы ещё мама была здесь, если бы она пришла... И то душное одеяло с собой прихватила...

— Родитель, а, родитель, — спохватывается одна из женщин с ножницами, — ребёнок-то у тебя не хворает? Гляди, кукуется как.

Папа хлопает себя по лбу, снова хватая Мирошу на руки и бежит куда-то, но Мироша уже не видит куда, только чувствует движение воздуха вокруг себя на лабиринтовых поворотах коридора — то ли падение, то ли полёт. Он пытается устроиться поудобнее, свернуться в калачик и согреться, и вскоре ему кажется, что на макушке у него сидит красная птица с перьями лёгкими и пушистыми, обнимает его, своего слабенького птенца, закрывает ему лицо мягкими крыльями, шепчет, что всё будет хорошо, и пахнет дождём, тем самым, что прячется в пузатом флаконе у зеркала.



Пеструхин появляется вечером, ближе к восьми. Наверное, ужинает после работы, а потом сразу ко мне. Замок я не закрываю — зачем? На Нюрку никто не позарится, а больше ничего у меня нет.

Пеструхин стучится — тук-тук-тук, а потом открывает дверь так, чтобы только голова пролезла. Заглядывает внутрь и кричит весело:

— Можно, сосед?

Я всегда разрешаю.

Делать мне нечего. Нюрка спит. Рано темнеет, и время тянется бесконечно. А Пеструхин говорит много и становится для меня чем-то вроде телевизора.

— Слыхали, что наши удумали? — начинает он, усевшись на самый краешек стула.

Я мотаю головой. Он оживает и светлеет лицом. Улыбка ему не идёт, и живость его мне неприятна. Но сидеть в тишине рядом со спящей Нюркой ещё хуже. И я издаю неопределённый звук, изображающий интерес.

И тогда Пеструхин пересказывает мне все новости. Что там случилось в далёких-далёких странах и что — у нас. Рассказ свой он сопровождает размашистыми жестами. Наверное,

если даже заткнуть уши, можно понять, о чём идёт речь. Если кого-то застрелили, Пеструхин вытягивает указательный палец, прицеливается и делает губами вот так: «Пу-ух-х!» А если закопали, то он машет двумя руками, как будто держит лопату. А потом вытирает лоб, словно бы сам копал, устал и вспотел.

Когда новости кончаются, он с минуту помалкивает. Приходит в себя.

— Во дают, да? — спрашивает он у меня.

Я киваю.

Пеструхин работает в магазине. Продаёт люстры, торшеры, лампочки, розетки и что там ещё нужно, чтобы было светло. Директор магазина учит его всяким полезным ухваткам, и, если кто-то хочет купить люстру, Пеструхин обязательно должен сказать, что точно такая же висит у него в гостиной, даже не думает ломаться и светит, как солнце. Или что точно такую же вчера купила его тёща, а она ох какая привереда, абы что не возьмёт.

Если бы всё, что твердит Пеструхин покупателям, оказалось правдой, его жилище было бы похоже на пристанище безумного осветителя, опутанное проводами, уставленное прожекторами и садовыми фонарями на толстых ногах. Но на самом деле у него нет ни тёщи, ни сада, ни коллекции люстр, а есть только маленький жёлтый светильник под потолком одной-единственной комнаты. Заходить туда я не люблю, там пахнет холодной овсянкой и старым чаем.

Впрочем, у меня запахи не лучше — Нюрка воздуха не освежает. Если бы не она, я бы давно уехал. Дела мои здесь окончены, а впереди только хорошее — новые встречи, дружба, может быть, любовь. Мне представляются большие города, наполненные огнями, и какие-то большие люди — высокие, длинноногие, смеющиеся. И чувства у них крупные, широкие, такие, чтобы на весь мир хватило, и ждут они только меня, чтобы говорить о чудесах, силе и красоте.

Когда я думаю о том, что будет со мной совсем скоро, мне становится жаль Пеструхина. Даже хочется обнять его и сказать, мол, не печалься, брат. Судьба у тебя такая.

Моё лицо в эти минуты, наверное, становится чуть приветливей. И Пеструхин снова при-

нимается за разговор — рассказывает что-то о своём детстве, купании в мелкой речушке, плотных зарослях крапивы и тысячеградусных морозах. Говоря о холоде, он обнимает себя за плечи и ёжится, а плавание изображает стремительным лягушачьим брассом.

Я смотрю на часы. Уже одиннадцать. Нюрка опять сегодня не умерла, и я беру её на руки — пора гулять. Она открывает глаза и виляет хвостом. Ветеринар сказал, недели две — не больше. На четыре дня уже ошибся.

Мы идём на улицу — я, Нюрка и Пеструхин. За домом пустырь, заросший мусором и жирными сорняками — однажды я видел там зайца, а Пеструхин — змею. Нюрка кое-как ковыляет по мокрой после дождя тропке, а я поднимаю голову к небу — чистому, чёрному, с веснушками звёзд. Пеструхин переносит Нюрку на плоскую проплешину в траве, торпливо курит и спешит закончить какую-то бесконечную историю о своём знакомом, победившем в городском конкурсе художественного свиста и получившем за победу диплом и жестяной кубок.

Мы прощаемся до завтра. Сквозь тонкую стену я слышу, как Пеструхин открывает, а потом закрывает шкаф, разбивает что-то стеклянное, подметает хрустящие осколки и наконец укладывается спать.

Утром мне звонит Марина. У неё короткая стрижка, длинные ноги, и я помню её всю, от макушки до пяток.

— Эй, — кричит она в трубку, — ты где потерялся? Как там Нюра? Мы соскучились!

«Мы?» — думаю я. А вслух отвечаю бодро и свежо, словно не валяюсь сейчас на кровати, а мчусь куда-то по срочным, важным и прямо-таки захватывающим дух делам.

— Маринка! Как хорошо, что позвонила! И я соскучился! Нюрка прекрасно, носится как чёрт! Ой, извини, такси ждёт, я тебе как-нибудь перезвоню! Всем привет!

Я нажимаю на красную кнопку, и её голос захлёбывается в тишине. Говорить с ней мне больше не хочется. Лучше буду помнить, как она голышом поливала цветы на подоконнике, а я говорил со смехом, что под нашими окнами скоро будут собираться толпы зевак. Теперь мне тоже жаль Маринку — почти как

Пеструхина. Наверняка ведь нашла себе кого-нибудь крепконового, с принципами. Уж он-то не будет терпеть стайку её вертлявых приятелей с их ночными звонками и внезапными вечеринками.

Я зарываюсь лицом в подушку и размышляю о том, куда пропадает любовь. Вот была же мне Маринка дороже целого мира, дышать не мог, когда на неё смотрел. И Нюрку когда-то хватал за лапы, чесал ей живот и сюсюкал собачьи глупости. Таскал за собой по городам, везде, где работал, и она послушно ждала меня на съёмных квартирах, а по вечерам выбегала на улицу и лаяла на голубей.

Словно откликнувшись на мои мысли, Нюрка хрипит и кашляет в своём углу. Я с надеждой поднимаю голову, но она просто потягивается и смотрит на меня вопросительно. И тогда я понимаю, что сегодня она тоже не умрёт, не умрёт и завтра, а усыпить её я не смогу, потому что боюсь убивать даже чужими руками и, значит, ещё очень долго не буду свободен. Мне становится душно и страшно, и я думаю, что могу умереть здесь сам — вместо Нюрки, от скуки и тоски. Я начинаю задыхаться, как она во время приступов кашля, и вдруг вспоминаю, что сегодня суббота и Пеструхин должен быть дома.

Я вбегаю к нему без стука. Он сидит у стола и ест бутерброд. Рядом — развёрнутая газета.

Готовится, наверное запоминает, чтобы вечером мне всё в подробностях рассказать.

— Пеструхин, миленький! — кричу я. — Выручай! Только что любимая звонила, и я обещал ей приехать! Я только на неделю отлучусь, а Нюрку в самолёт нельзя! Приглядишь?

Я говорю всё это быстро, а потом сразу вспоминаю, что между нашими комнатами очень тонкая стена, и Пеструхин наверняка слышал всё, что я говорил Маринке, и теперь понял, что я вру. Но замолчать я уже не могу и только смотрю на него умоляюще, продолжая лепетать что-то о выдуманных сложностях выдуманной подруги.

— Конечно, — перебивает он меня и краснеет, — конечно! Я пригляжу! — И добавляет: — Всякое бывает.

Я тащу его к себе, показываю, где лежит Нюркин корм, записываю прямо на обоях телефон ветеринара — на всякий случай. Мечусь по комнате, хватаю вещи, смеюсь и представляю, как выпью дрянного, но горячего кофе в аэропорту, а потом взлечу высоко-высоко, туда, где нет никаких больших собак и не продают уродливых люстр.

Собравшись, я спешу к двери, но потом всё же оглядываюсь. Пеструхин сидит на полу рядом со спящей Нюркой и машет мне на прощание, вскинув обе руки над головой.

□

Ирина Викторовна ИВАСЬКОВА

родилась в Красноярске.

*Окончила Красноярский государственный университет,
факультет юриспруденции.*

Пишет прозу, стихи.

*Публиковалась в периодических изданиях,
в том числе в газете «Кубанский писатель», журнале «Север».*

*В 2014 году вошла в лонг-лист независимой премии «Дебют»
номинации «Малая проза» с подборкой рассказов.*

*В 2015 году получила Гран-при I Всероссийского
литературного фестиваля-конкурса «Поэзия прекрасный свет».
В 2017 году стала лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса
«Хрустальный родник».*

Член Союза писателей России.

Живет в Анапе.

